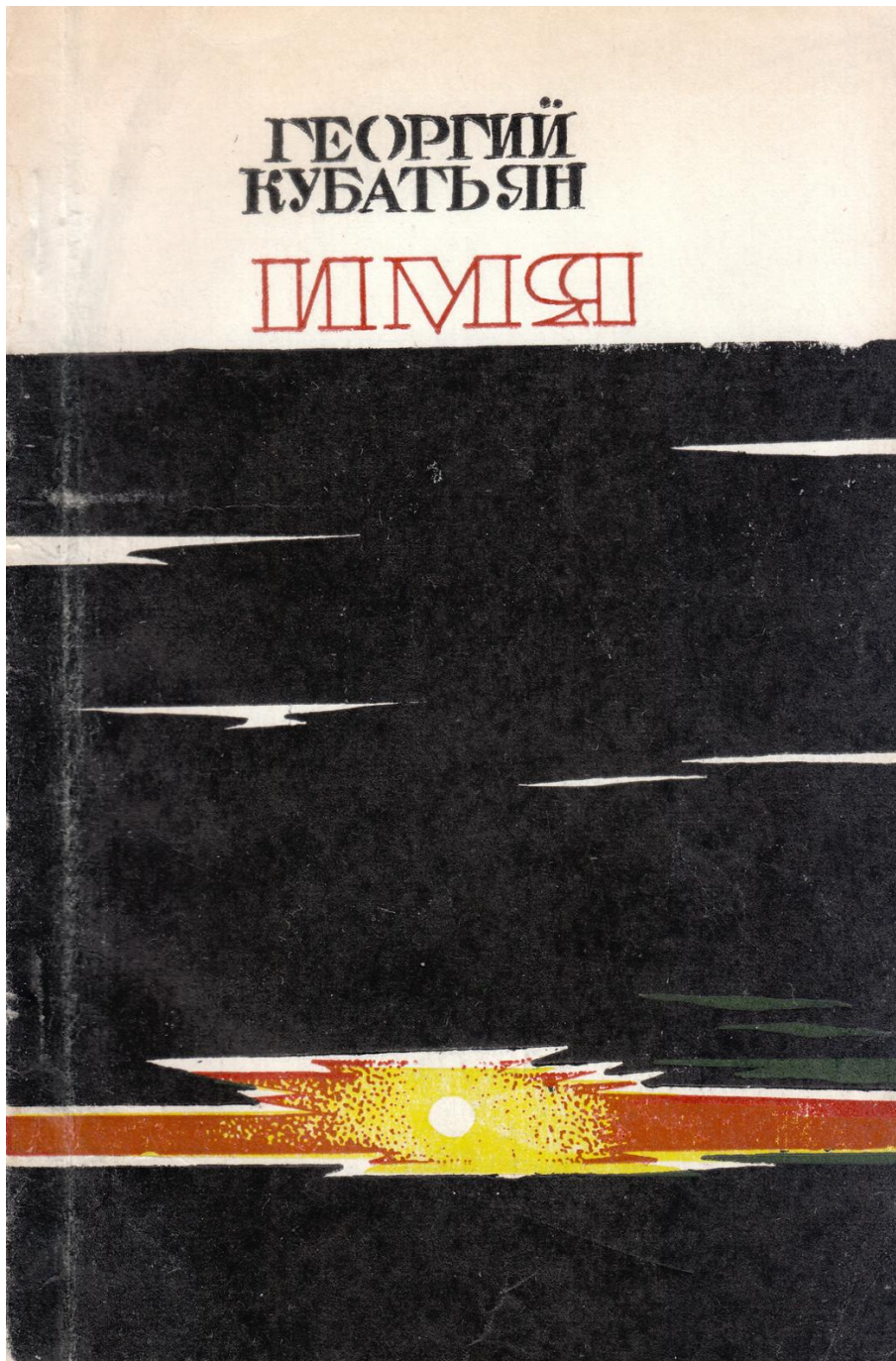


ГЕОРГИЙ
КУБАТЬЯН

ШИМЦА



ГЕОРГИЙ
КУБАТЪЯН

ЦМЯ

стихи

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТАКАН ГРОХ», ЕРЕВАН—1979

$\frac{P\ 2}{K\ 88}$

«Имя» — первая книга Георгия Кубатьяна. Стихи говорят о сложном внутреннем мире молодого современника, о его нравственных поисках.

Г. Кубатьян — приверженец традиционных форм стиха, он стремится к точности и весомости поэтического изъяснения. При этом тяга к строгой философичности сочетается у него с непринужденностью стиля, любовью к разговорной интонации и просторечию.

$K\frac{70403\ (500)}{705\ (01)\ 79}\cdot 79.79\ \text{«М»}$

© Издательство «Советакан грох», 1979

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ



БАЛЛАДА О МОЕЙ ЖИЗНИ

Была война. И не было меня.
Пожалуй, я об этом не жалею.
Живу. Смеюсь. Но посредине дня
мне как-то сразу станет тяжелее.
Я вспомню то, чего мне не забыть.
Я — был. Меня ломали, били, гнули.
И прежде чем кого-нибудь убить,
меня шершаво прошивали пули.
Я жил в телах солдатских, и глазах,
и голосе охрипшего радиста,
и партизаном маялся в лесах.
...Ну а потом — уже потом — родился.
Мне жизнь моя бывает не мила.
Мне мелочность и трусость не прощаются —
все мои жизни прошлые в меня,
как обвиненье, молча возвращаются.
Во мне живет Отчизна. И вдвойне,
больнее уязвлен я и уколот —
не говорите ради бога мне:
«Ты молод, помолчи. Ты слишком молод».

1965

ЗВЕЗДА НАД ГОРОДОМ

Я вечером стою и удивленно
смотрю, как, осеняя небосвод,
возвышенно, легко и удаленно
звезда плывет. Не падает. Плывет.

Она плывет над городом шумящим,
надменно ощущая свой полет.
А город — куролесит и шаманит,
сидит в кино, целуется, поет.

И до звезды ему какое дело!
Он головы не хочет подымать.
Гудеть он хочет, чтобы все гудело,
в тромбоны дуть и в трубы поддуть!

Но, переполнен счастьем и шумами,
до боли — вдруг — захочет тишины.
А в небе будет плыть звезда — щемяще,
как плавают воздушные шары.

И опадет ненужным, лишним грузом
весь этот шум, галдеж и хоровод,
и будет в сердце ласково и грустно,
пока звезда над городом плывет.

1965

РАССУЖДЕНИЕ О ДЕТСТВЕ

Люди всегда живут в детстве,
как всегда — даже во сне —
идет по дрожащему нерву каната канатоходец.
Но им не дано понять этого,
и когда я, четырнадцатилетний,
заявляющий, что терпеть не могу Маяковского,
кричу: «Я уже не ребенок» —
и примеряю перед зеркалом
отцовский галстук в поперечную полоску —
какое это блаженное детство!
И когда я, двадцатилетний,
привыкающий к невеселому титулу «дядя»,
жалуюсь другу: «Стареем», —
это проекция детства, и только.
И когда опустошенного, как ночь за окном,
мужчину
гладит по голове благодарная женщина,
она гладит его, как ребенка.
И когда издерганному, точно марионетка,
отцу семейства
мать говорит: «Кушай, сынок, кушай», —
это так естественно,
как естественно все происходящее в детстве.
А потом люди все-таки стареют,
и про старика, перечеркнутого, как сабельными ударами, морщинами,
говорят: впадает в детство —
и круг замыкается.
И только девушка-воспитательница,
подгоняющая своих малышей:
«Стройтесь, дети, скорее», —
никак не хочет взять в толк, что она вечное дитя,
и недовольно произносит, захлопывая книгу:
«Ах, какая инфантильность!»

1967



Мне кажется, что это не игра.
Мне кажется, что это не влюбление.
Мне кажется, что все это — пора,
когда приходит жажда углубления.
Не важно мне, с кем ходишь ты сейчас,
не важен мне накал и холод фраз,
а важен монолог твоих глубоких
и голубых, твоих надменных глаз.
Не знает он раздвоенности чувств,
раздвоенность ему не удастся.
Когда пуста твоя душа — он пуст,
как горло пересохшее колодца.
...Но иногда мне тяжело гадать,
отыскивать переживаний эхо,
и мне лицо твое — как благодать.
Как благодать. И все. И только это.

1966

БАЛЛАДА О ФРАНСУА ВИЙОНЕ

Был день. И утро. Ночь была. И вечер.
И ветер был. И становился крепче.
И сто картин, как сто противоречий,
пейзаж парижский мирно сочетал.
И оскверняя женщин и соборы,
бродил школяр, сбежавший из Сорбонны,
и путанные вирши сочинял.

Но взгляд его светился отреченно
и, может быть, немного обреченно.
Он бормотал: «Проклятая судьба!
Я, может, завтра буду уюкошен,
и ангелами к небесам подброшен,
и на суде на Страшном буду спрошен:
— Кто ты таков? — и буду огорошен,
и мой ответ — увы! — не будет ложен:
— Я знаю все, но только не себя.

Зачем родился я таким тупицей,
и как живу я, сам себя терпя?
Что сделать мне?! Напиться? Утопиться?
А может быть, не стоит торопиться?
Я знаю все, но только не себя...»

И маялся он, резкий и неистовый,
и уходил, отыскивая истину,
в далекие и смутные края.
Но оставалась истина загадочной,
и маялся Онегин — вслед за Гамлетом,
и вот сегодня, грешный, маюсь я.

Но что я? Где я? Может быть, на подступах
к познанию таинственных высот?
Какая сила надо мной господствует,
какая жажда утоленья ждет?

Какие грани навсегда стирают
мои стихи, мой дар, мое старанье,
и почему, и все же — почему
школяр Вийон кричит, смеется, пляшет,
школяр Вийон в своем бессильи плачет,
а я еще завидую ему!

В небытие уходят поколенья.
А жажда жжет. И нет ей утоленья.
Ползет телега времени, скрипя.
Прошло полтыщи лет. Пройдет полтыщи.
Но нет ответа. Кто его отыщет?

Я знаю все, но только не себя.

ДРУГ ПРИЕХАЛ

А я любил из жизни всей
вернее прочего и пуще
беседу сладкую друзей,
как говорил когда-то Пушкин.

Он, видно, в жизни понимал
немало, если, не опомнясь,
друзей при встрече обнимал
куда страстнее, чем любовниц.

И впрямь был умница арап.
Вот ночь, бессонная, плохая.
Но мне блаженнее твой храп,
чем чье-то нежное дыхание.

Оно пронижет до нутра
в ночи — с моим сплетясь.
И все же,
когда орут кондуктора
и поезда визжат: пора! —
то словно детская игра
кончается, когда с утра
мы порознь и уже не схожи.

И лишь останется моей,
пробившись через дым кудлатый,
беседа сладкая друзей,
как Пушкин говорил когда-то.

1967

ПАМЯТИ ДВАДЦАТИЛЕТНИХ

Они суровы были, сдержанны
и рассуждали: «Погоди,
лишь присказка все то, что сделано,
а сказка будет впереди.

Мы вдаль глядим — упрямо, пристально,
и даль — она уже видна,
и все, что сделано, лишь присказка,
а...»

А впереди была война.

И то, что было обещанием,
залогом,
вдруг становилось завещанием,
итоном.

И обрывалось все, что начато,
как будто снегом замело,
и то, что намечалось начерно,
высвечивало набело.

И жизнь была отнюдь не призрачной.
Вела прямой и жесткий путь.
И то, что им казалось присказкой,
воспринимается как суть.

1966

НОЧЬЮ В АВГУСТЕ

Снова над августом хмуро резвятся дожди,
снова деревья сияют и пляжи мрачнеют,
и по ночам, хоть умри, ни звезды, ни души
и ни словечка, чтоб сделать стихи поточнее.

Резко припомнить и резко отбросить назад,
как реактивный — решительный след оставляя,
то, что не нужно. И только всклокоченный сад,
фары машин и обрывки прилежного лая

в душу вместить. Мы живем. Мы вмещаем в глаза,
в души, в себя и реку, завладевшую ночью,
и асфальт, как глушитель, снижающий все голоса
до тишины, и фонарей многоточья.

То, что не нужно, — не нужно. Не пропадет.
Все соразмерно. Все верно. Ничто не бесследно.
Все, что на свет появилось, еще пропоет
песню свою. Пропоет. Облегченно. Победно.

Стоит ли спорить? Нет, этому не помешать.
Жизнь полюбить, как влюбиться, — не слишком-то сладко.
В душу вмещать и в глаза осторожно вмещать
все, что пульсирует, дышит, шевелится слабо...

1967

МОЛИТВЕННОЕ

Верни мне, господи, верни мне, ненавистный,
ту ночь. Тот день. Нет, все же — только ночь.
Пусть надо мной отчаянье нависнет
и упадет. Пускай не превозмочь
того, что будет. Но того, что было,
не превозмочь тем более. С ума
сойти так просто, если прознобила
тебя не стужа, ветер и зима,
а нечто, называемое трудно,
к чему нельзя и страшно приступить,
что жило не подспудно, не прилудно,
а не жило совсем. И притупить,
и приглушить нельзя. Живет. И все тут.
Вчера родилось. Родилось вчера.
День. Новый день. Десятый. Даже сотый,
любое время, хворость и чума
не оборвут. Не сделают иначе.
Все будет так. Или совсем никак.
Я не чужак. Я не люблю чудачеств.
Я их не прославлял. Я не чужак,
я не чужак, но это появилось
во мне. Со мной. А может быть, и в ней.
О господи, яви такую милость —
то, прошлое, продли. Пускай длинней
оно пребудет. Да, пускай пребудет
длинней, чем жизнь. Но не длинней, чем ночь.
Пускай не растолкают, не пробудят
меня вовек. Да. Пусть не превозмочь
моей беды, которой нет беднее,
как нету горше горести моей,
когда здоров — отчаяньем. Болею —
фортуною. Той ночи. И тех дней.
Нет, только ночи.

1967

НА ПОЛЬЗУ

Снег на крышах. На шапке. И на бровях.
Снег как снег. Если холодно, то не от снега.
И мороз не ахти. Только холодно снова,
тепло проживает на птичьих правах.

Потерялось тепло. Потерялось нутро.
Только внешне, как будто бы в маске посмертной,
искривлен я улыбкой. Похоже — последней.
Засмеешься — не то. Ухмыльнешься — не то.

Объяснялись вчера. На ходу. На бегу.
Как-то смазанно, точно друг другу мы снились.
Я молчал. Я все ждал. Так и не объяснились.
Надоело. Аж до смерти. Все. Не могу.

Есть дела поважнее, чем холод-тепло,
есть дела посерьезней, чем все объяснения.
Ведь не ноют же реки. Не хнычут растенья,
И зверюги не стонут: тепло утекло.

Потерялось нутро. Ничего. Я найду.
Жизнь бы, главное, как-нибудь не потерялась.
Обещаю быть сильным. И постараюсь
объясняться пореже. На пользу нутру.

1967

ПЕРВАЯ НОЧЬ В ЕРЕВАНЕ

Самолеты, поезда,
наставленья, установки,
врѐменные остановки,
временнѐе пояса.

Ленинград или Москва,
Тарту, Таллин или Вятка —
все ни шатко и ни валко,
все чуть-чуть, едва-едва.

Не дороги далеки —
далеки простор и ясность,
простодушные и яркость
в жизни, а не для строки.

И — прохладный Ереван,
благостный в ночи, как дождик,
словно погубить он должен
все, о чем я горевал.

Эта полночь — высока...
Эти тихие фонтаны...
Как глухие фортепьяны
тронет женская рука.

Зашагаю налегке,
чемодан отдам Сурену
и, как Одиссей сирену,
джаз услышу вдалеке.

Потихонечку пойдем,
точно не в своей тарелке, —
так мгновенны и так редки
эта ясность и подъем.

1967

СРОКИ

Учить уроки. И давать уроки.
Есть время. Обязательные сроки
еще не дают. И в конце концов
не буду я давать себе зарок
стать первым молодцом средь молодцов.

А как хотелось! В детстве. Да и позже.
Как будто бы какой дурацкий поршень
во мне толкался и меня толкал.
Но — ломался голос, и менялся почерк,
и срок, как говорится, истекал.

Смотрю в себя. Сужу. Не слишком строго.
А может, слишком строго. И дорога,
которая ершится под ногой,
молчит и не обозначает срока,
и срок выходит, но идет другой.

1967

СРОКИ ПЕРЕМЕН



Опять я себя не приемлю.
Ни сердцу и ни уму...
И комнату мудро проветрю,
и мирно гантели возьму.

Какая положена встряска
и мускулам и душе,
когда ни обида, ни ласка
не трогают сердца уже?

По шесть килограммов чугунных
на левом и правом плечах,
как гирьки годов моих юных
на вечных и правых весах.

И горло тоской перетянет,
чтоб этой тоскою — дышать,
и то утешать перестанет,
что долго могло утешать.

И юношеские мечтанья
навалят, как ветром — и с ног,
когда посреди мирозданья
стоишь одинок-одинок.

1968

ИЗДАЛИ

Охота к перемене мест?
Отнюдь. И трудно
признаться: надо мной сей крест —
приезд, привет, ответ, отъезд —
висит, паскудный.

Не в расставаньях суть, не в том
мое несчастье,
что, как загадочность в простом,
звучат, не попадая в тон
мои «прощайте».

Блаженство и покой? Держи
карманы шире!
«Душа не выдержит в тиши».
Но пусть издерганность души
пребудет в мире

и с подорожной суетой,
как в оперетте,
и с удаленной, занятой,
единственной, прекрасной, той
землей на свете...

1968



Ты моя, а я не твой,
и с тобой, а все не тут —
разъяренно стерегущий
в этой жизни, в этой гуще,
в мешанине мировой
смысл, как зверя стерегут.

Да и ты мне так чужа,
так тебе я безразличен,
так не нужен, что охота
крикнуть, но как парали́чем
горло стиснуто — душа
накануне поворота.

1970

ЧУЖАЯ БЕССОННИЦА

Ю. М.

В половине второго, в Москве,
когда темень бессонницей страшной
возвращает вам полдень вчерашний,
чтобы он поселился в строфе,
безысходной, хотя и прекрасной,
я по улице брел подшофе.

Я и пить-то не пил, потому как
это мука, нет, впрямь, это мука —
слушать вас, попивая винцо,
это счастье блажное: а ну-ка,
сделай умное, парень, лицо,
ведь простая же, парень, наука!

Притворяться хотел, а не мог,
не хватило актерства, притворства;
если это урок, то урок,
на котором не вызубришь впрок
ничего, и упрямство, упорство
возникают. Зовут, как гудок.

Как гудок паровозный и как
объявление об отправке.
Поздно требовать сведения, справки.
Чемоданчик какой-то в руках,
и зудит, и свербит, и внутри
все открыто и ясно, как страх.

И в Москве, расставаясь, смешно
я сказал вам, что я благодарен.
Вам бессонница — значит, грешно
этой ночью храпеть, значит, парень,
помотайся, как страстью ошпарен,
и подумай. Время — пришло.

1970

ХУДОЖНИК

Приветствую твой взгляд,
беспутный и бесстыдный,
безжалостный, обидный,
все видящий подряд.

Живешь — не сам не свой,
не в дымке и тумане.
Не требуют вниманья
звезда над головой,

ни женщина вблизи,
ни горы в отдалении.
Ты пребываешь в лени,
в безделии, в связи

с умением — вполне
переносить безделье.
Спокойное веселье.
Неяркое кашне.

Тихоня, демократ,
как жизнь твоя примерна.
Все просто, ясно, верно...
И только этот взгляд!

Все видящий насквозь,
холодный и жестокий,
и все живет в потоке
и вместе, а не врозь.

Преобрази меня,
меня ты не обидишь.
Изобрази меня.
Ты прав, поскольку видишь.

1971

ТАК ГОВОРИТЬ

Тот желтый свет, которым небо жжет,
с которым шлет загар на лбы и плечи,
не поделился от своих щедрот
безжалостною прямизною речи,
когда она — поток, а не предтечь —
словами, как слезами, полнит рот.

Да, тягостно. Да, скверно. Да, беда.
Но надо говорить и надо прямо,
не отбирая слов, но так, чтоб хлама
словесного не допустить туда,
где, может, все решится навсегда.
Промашка — и не оберешься срама.

Так говорить, чтоб жгло, и жгло, и жгло,
как желтый зной, когда сгоняет кожу
с носов и щек и опаляет рожу,
так говорить, чтобы не сесть в калошу,
чтоб жарко было, больно и светло.
О боже, кто же спорит! Тяжело.

1970

ВДОГОНКУ

Не оттого мне лихо,
так лихо, ну хоть вой,
что пью без передыха
я третий день с тобой;

не оттого мне худо,
что повод в общем прост:
отсюда и дотуда —
меж нами — тыщи верст,

что ты садишься в поезд,
скрываешься впотьмах
и мы с тобою порознь,
как в разных временах.

Стоит такая осень
прозрачная, как вздох.
Невыносим, несносен
крик и переполох.

И на душе затишье,
и только нелегка
в любом четверостишье
начальная строка.

И так свободно, вольно
и так покойно мне.
Все есть. Всего довольно.
Достаточно. Вполне.

Хватает мне, родимый,
среди стольких недостат
моей неуглядимой
удачи — я богач.

И женщин мне хватает,
и сладости, и слез,
а юность — пропадает,
как будто ты увез.

1971

ОРГАННЫЙ ВЕЧЕР

Я не имею сил противиться добру,
как стянутый петлей спокойною арканной.
Ты даришь это мне. Что я тебе дарю?
Возьмем билеты на концерт органный.

Пусть будет музыка — крушение и обвал, —
тяжелая двоим, как близкое решение,
и я скажу себе, смеясь, что я пропал,
и пусть пусты глаза — пробоины в мишени.

Возьму твое пальто и помогу надеть.
Возьму такси, а может быть, пройдемся.
Уже все решено и никуда не деть
И не отсрочить, нет, того, что нам придется.

1969

ЖАСМИНА

Ты была, и ты прошла.
Ни портрета, ни записочки.
По складам, но без запиночки
ты всего меня прочла.

Жив, и цел, и невредим.
Все прочла... А что останется,
пусть другими пролистается,
пусть достанется другим.

Потеряем? Обретем?
Что дано — все будет отнято,
кроме возраста и опыта.
А про них — потом. Потом.

И восходит, как звезда,
одинокая и странная,
как высокая беда,
ваше имя иностранное.

1969

ПРОЩАНИЕ

А все ж вы постарели, и поиссяк ваш пыл.
Пропеты ваши песни, а я их так любил.

А я им подчинялся, и, как прижат к стене,
я слушал их и слушался — и все по их вине,

и все по той причине, что — как вас ни брани, —
нет, вы немало стоили, а с вами и они.

Но словоговорение — занятие из тех,
где поучать и пыжиться — последний смертный грех.

Ах, как легко инфляция одолевала вас,
ах, как он поистратился, ваш золотой запас...

И я прощаюсь — с горечью, но зло и полный сил.
Пропеты ваши песни. Нет, я их не забыл.

1970

ЗНОЙНАЯ БАЛЛАДА

Мое существование — зной,
сплошной, сгустившийся над бездной
озерною, над желтизной
спаленных скал, над бесполезной
прохладой этих снежных гор,
снега которых — плод обмана,
иллюзия, ошибка, вздор,
а жизнь — на берегу Севана.

И этой жизнью, ей одной,
родной, единственной, любезной,
живу, ее своей виной
не делая; туземец, местный,
абориген, я распростер
себя, я весь горю как рана,
понявший с некоторых пор,
что жизнь — на берегу Севана.

Не полоумный, не чудной,
а весь как есть и интересный
лишь тем, что там, внутри, в грудной
клетки, вздымающейся, тесной,
вбирающей в себя повтор
веков без умысла и плана,
весь этот мир, весь кругозор
и — жизнь на берегу Севана.

«Живи как знаешь, но не ной,
что жизнь не удалась» — железный
закон, чьей хмурой прямизной
я вряд ли поступлюсь; не лестно
знать о себе, что ты не вор
увертливый, живешь не спяна, —
а возраста холодный взор?
а жизнь на берегу Севана?

Без передышек, на сквозной,
безостановочной, болезной,
на адской скорости земной
несется время и отвесно
однажды рухнет, как топор,
и в миг, распадом осиянный,
я вспомню юность, и простор,
и жизнь на берегу Севана.

1971

НИЖЕГОРОДСКИЙ СЕНТЯБРЬ

Никуда не хожу,
не хочу ни судьбы, ни судьбины,
ничего не хочу,
кроме горько горящей рябины.

Это все, что здесь есть, —
облетающее загляденье.
Ах, благая ли весть
тихий благовест листопадения...

Ничего. Никого.
Как в пространство вселенское падать.
И одно божество —
все забывшая начисто память.

И единый исток —
распорядок, привычка господня:
поутру холодок,
звезды полночи, солнышко полдня.

Нет, на что я горазд,
знать не знала земля-повитуха,
когда Экклезиаст
предсказал мне томление духа.

1971

ДИЛИЖАНСКИЙ СЕНТЯБРЬ

Осенний воздух горный
вбирая полной грудью,
душа моя покорна
покою и безлюдью.

Ужель не раз в столетье,
а каждый год и чаще
бывает на планете
такой простор молчащий?

Безвыходно прекрасный
и безысходно светлый
и потому опасный
заботой незаметной.

Пустяшная забота
слегка на сердце давит:
не слишком ли свобода
открыто пир свой правит?

Какая бы ни сила,
но не могло ж стереться
все, что меня теснило,
и все, что было в сердце.

Я чувствовал, я видел,
да мало в этом проку.
И все же проявитель
проявит киноплёнку.

И после первой ночи,
едва пройдет усталость,
все станет четко — четче,
чем было и казалось.

На бедственном просторе
осталось два мгновенья
до счастья, и до горя,
и до вдохновенья.

1970

ВСЕГДА

Пока еще Севан не сдался, не иссяк,
пока еще в него впадает тридцать речек,
я снова говорю себе: и так, и сяк
живи и помирай, и все равно ты вечен.

Июнь над головой. И горечь, и полынь
во рту, безжалостная, будто горечь яда,
все, может быть, и так. Но облака! но синь! —
не бедствуй! не волынь! живи! Все, все как надо!

Нырни и под водой глаза свои раскрой,
я говорю себе, ведь не впервой, и хватит
мельчить и горевать — пустое! — по второй
не выпить эту жизнь, еще не то накатит.

Ни звука. Оттого, что вечность — это сон
со сновидениями, полными печали, —
Ты вечен. Ты всегда. И ты соотнесен
не с горем — с миром, созданным в начале.

И даже если жизнь залапана до дыр,
она чиста — чужда возни, грызни, старенья.
Севан сияет мне, и весь господень мир
прекрасно завершен, как в день седьмой творенья.

1971

ВКУС ЖИЗНИ



АГАРЦИН¹

Дух Дантовых терцин
чем далее, тем зримей
витают, Агарцин,
под сводами твоими.
Вдали жилья, и рощ,
и рек, на горном склоне
откуда эта мощь
в животворящем лоне?
Здесь властвует одно
во всем, в любом предмете —
здесь все воплощено
в неудержимом свете.
И мы оглушены,
глаза во храм уставя,
настоем тишины,
настойкой разнотравья.
Ты в мире не один,
пока вбирают жилы
дух Дантовых терцин —
дух красоты и силы.
Ты не анахорет
и дышишь не напрасно,
пока ликует свет
безудержно, всевластно.

1973

¹ Архитектурный комплекс XI—XIII вв. вблизи Дилижана.



Все снег да снег. Терпи — и точка.
Б. П.

Все снег да снег, и в этой круговерти
истает мгла.
Лежат снега на Цицернакаберде,
и ночь светла.

И никому не друг и не напарник,
склонив лицо,
сам по себе стоит любой кустарник
и деревцо.

Хотя бы их ветрами и сплетало
все злей и злей,
но листья, облетевшие с платана
и с тополей,

лежащие под снегом вперемешку —
чем не друзья? —
ни за какие блага, ни в насмешку
смешать нельзя.

Всей кровью генетическую память
всосала плоть,
ее не истребить и не подправить,
не побороть.

Ведь где бы ни произошло рождение
твоих ветвей,
есть корни, есть их местонахождение
и зов кровей.

Их будет не под силу даже смерти
спалить дотла.
...Лежат снега на Цицернакаберде,
и ночь светла.

1972

РОДСТВО

Никогда я не мог
толковать о преданьях семейных.
Мне сподручней, дружок,
пропадать в ереванских кофейнях.

Меж резни и кровей
слава богу еще, что я выжил;
родословной своей
дальше деда и слыхом не слышал.

Но как листья в росту
наливаются зеленью резкой,
сам навстречу родству
выхожу — вот он я, не побрезгуй.

1972

24 АПРЕЛЯ¹

Бутылка красного вина,
и жизнь моя озарена
страданием, и пелена
кровавая мне застит очи,
и даже если жизнь длинна,
то память крови — не короче.

Пойдем, куда-нибудь пойдем,
болит, как взрезана ножом,
душа, не стыдно нагишом
по улице, где смерть и сыщет;
был дом, а нынче все кругом —
приют, пристанище, кладбище.

Апрель, и яблоня цветет,
как хорошо, мне выпал чет,
а нечет — с кровью выпил тот,
по ком моя, как оклик, тризна,
кто не расслышит, а поймет:
«Отец, отечество, отчизна...»

1972

¹ День памяти жертв геноцида 1915 года.



Куда как печален отъезд.
Вернемся в свои палестины,
вернемся и глянем окрест,
и даль Араратской долины
затянет ватин тополиный,
а там — удивления жест:
неужто не надоест
отечество камня и глины?

Но этот — в лицо — суховей,
и травы, горчащие сладко,
и тысячелетних церквей
надежная, грубая кладка,
и горы, и лица людей —
все, что отражает сетчатка...
Ты знаешь, такого порядка
в душе не бывало твоей.

И даже на пустыре,
пожарище, в пепле и дыме,
слепцом при поводеyre
и после, на смертном одре,
ты сложишь губами своими
отечества дивное имя,
ведь нет у тебя в словаре
другого — родней и родимей.

1974

КОФЕЙНЯ

В этой тихой кофейне
ты и днем как впотьмах —
виноградные тени
на полу и столах.

И над стойкою бара,
как неясный намек,
из-под рук кофевара
выплывает дымок.

Запах крепкого кофе,
теста, дыма, огня.
Никакой катастрофе
не осилить меня.

И сижу я тверёзый,
молодой и живой,
виноградные лозы
над моей головой.

Эти клены, платаны
и вдали Арарат,
этот зной непрерывный
как из адовых врат.

И чего еще надо
для души и для глаз,
чтоб утихла досада
и печаль улеглась?..

1973

САД

Леониду Григорьяну

Где мы, собственно? В саду.
Так аukaется дивно.
Полутемь, как будто дымно.
Одиноко и пустынно,
и ничто не на виду.

Пахнет зеленью. Темна,
как сгустившаяся краска,
листьев зыбь, качанье, ряска,
дрожь. Вечерняя опаска
явственна, как тишина.

Боязно шагнуть, шепнуть,
боязно вздохнуть и вздрогнуть,
боязно дыханьем тронуть
мглы величественный омут,
времени ночную жуть.

Господи, какая тишь.
Неужели автострада
где-то в двух шагах от сада?
И как в двух шагах от ада,
как в чистилище, стоишь.

1972

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Подальше положишь — поближе возьмешь.
Решила проверить? Ну что же.
Все вроде бы ясно, и способ хорош
и прост — аж мурашки по коже.

Ну ладно, попробуй. Покрепче петлю
затягивай. Веруй в удачу.
Авось я играю, авось я люблю,
авось я раскисну, заплачу.

Пусть так. Я заброшен, закинут, забыт,
насквозь пропылен и ненужен,
и все-таки — разве тебя не знобит
и разве твой смех не натужен?

Пока в Ереване торгуют вином
и режутся за полночь в нарды,
пока не сойдутся на чем-то одном
надсадно орущие барды,

пока разговоры на двух языках
меня утешают в кофейнях —
не жди. Не надейся. Забудь о звонках
моих нагловато-елейных.

Твой ум да подвигнет тебя развязать
твои хитроумные петли.
Добром и в открытую или как тать —
только бери и не медли.

1972

ИЗ ТЕЛЕФОНА-АВТОМАТА

Б. А.

Говори со мною, муза,
набираю номер твой,
и да будет не в обузу
этот получасовой
разговор — о том, об этом
или даже ни о чем;
в голосе твоём пропетом,
ангельском, во всем твоём
облике, в твоей повадке
обходиться со строкой
то ли жизнь — и взятки гладки,
то ли чудо — тронь рукой!

1972

ГОРНЫЙ ЛЕС В НОЯБРЕ

Он ежится, а если ветер,
то попросту дрожит дрожмя;
листы, как сорванные с петель,
на землю валяются плашмя.

Но даже в скудости осенней
и облетая на просвет,
он избегает потрясений
и неизменностью согрет.

И песенка его пропета,
а он и плохо, да живет,
не хочет вечного расцвета
и признает круговорот.

Стоит оборванный, как люмпен,
и жалкий вроде бы, и все ж
он только музыке доступен,
его словами не возьмешь.

1972



Не набухай, не пульсируй,
височная жилка; гортань,
не хрипни; душа, ну пойми же,
твое обращение к миру,
твоя добровольная дань
тем значимее, чем тише.

Пойми и прими распорядок
вещей, этот круговорот
безмерный, как глубь небосвода;
и петь — как лететь — без оглядок
ты должен; а что есть полет —
пленение или свобода?

1972

ЕЖЕВЕЧЕРНИЕ ДОЖДИ

Ты маялся, и шли да шли
низвергнутые божьей дланью
ежевечерние дожди,
как поезда по расписанью.

Очнулся, взялся за дела
и то, что делал, делал с толком;
вода без удержу текла
по желобам и водостокам.

Ты охнул, огляделся зло:
все глупо, понапрасну, втуне;
весь май по вечерам лило
и льет по вечерам в июне.

И пахнет вольно и хмельно
чинара, ветви растопыря,
и мир с тобой не заодно —
он чище, и ясней, и шире.

Свежо и зябко, и дыши
свободней, глубже, равномерней,
пока еще идут дожди
печально и ежевечерне.

1972



Январь, суматоха, «эпоха безумия», жаль
снегов, перемазанных смогом.
Железом начертана и непременно скрижаль.
Прочти, и постигни, и с богом!

Ты знаешь себя и дорогу, крути же педаль,
уверуй же в нервы и мышцы —
железом начертана и непременно скрижаль, —
когда еще ты утомишься!

И время — твое, и твоя — неоглядная даль,
и твой — снегопад оголтелый.
Железом начертана и непременно скрижаль,
И что предначертано, сделай.

1973

ВКУС ЖИЗНИ

Пусть как у всех. И не хочу особую.
Согласен, смерть. Тебе принадлежу.
Вот только раскушу ее, распробую.
Расслышу только. Только разгляжу.

Вот только вдосталь надышусь и наново
явлюсь на свет — хотя бы и в бреду.
Вот только этой улицей платановой,
расплавленной, расслабленной, пройду.

Вот только в глубь севанскую священную
кощунственно и сладостно нырну.
Вот только хоть одну надежду тщетную
смогу исполнить въяве — хоть одну.

Вкус жизни, невозможный, обожаемый, —
гранатовый присноблаженный сок.
И скаредой готов прослыть, и жадиной —
еще неделю жизни! день! часок!

Отвергнутые, с глаз долой, как ссылные,
тоска и жалость к самому себе
живут в душе, покуда ненасытная
ликует жизнь и буйствует в гульбе.

Мне жаль себя, затем что, смерть-печальница,
придешь за мной, когда ударит срок.
И впору выть от боли и отчаяться —
не сам ли я себе судьбу предрек?

Но если даже так? Какая разница
меж тем, что не живет, и что живет,
поймешь, когда в багровое окрасится,
стремительно снижаясь, небосвод.

Согласен, смерть. Бери меня, выматывай.
Ну а пока ты плоть щадишь мою,
жизнь, как присноблаженный сок гранатовый,
пью, задыхаясь. Задыхаясь, пью.

БЛАГОВЕСТ

Невнятен, приглушен,
а после все раздольней,
все безоглядней звон
высокий колокольный.

И непогодь, и хмарь,
и два тысячелетья
переборол звонарь,
в бессмертие не метя.

И впрямь, что значит мгла,
когда в Эчмиадзине
звонят колокола
издревле и доныне,

и надо всем, что есть
в округе и вселенной,
летит благая весть,
воистину нетленна —

так распорядок дней,
исчисленный в твореньи,
чем дальше, тем ясней
и явственнее зренью.

Еще избыток слов
пьянит меня как брага,
но звон колоколов
уже вещает благо.

1972

РАЗДОЛЬЕ И ПРЕДЕЛ

ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

Ах, это головокруженье
так зябко, так славно,
и ведь никакого движенья,
все движется плавно,
тихонько, как на перевале
машина, и вроде
зима настает в Ереване,
декабрь на исходе.

И этот снежок первозданный
и взбалмошно-нежный
на фоне ночного Раздана
как призрак прибрежный;
он чист, как до грехопаденья,
блестит, как полуда, —
воистину загляденье,
поистине чудо.

Подъем, тротуаров покатость,
такая морока!
...Покамест не утро, покамест
до света далеко,
услышь, как наполнены воды,
и воздух, и скверы
дыханием нового года,
и века, и эры.

КАНАТНАЯ ДОРОГА В ЦАХКАДЗОРЕ

Дорога уходит от храма —
и ввысь, чтоб открыться могла
далекая панорама
и времени горная мгла.

И это великолепье —
Движение и ширь заодно —
есть уподобление цепи,
в которой ты тоже звено.

И эта дорога (положим,
не зря же мы движемся вверх)
связует не гору с подножием,
а с вековечностью век.

И в дивном сиянии снега,
которым земля залита,
и прелесть минувшего века,
и будущего чистота.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Покаты горы и округлы,
как формы спящей великанши,
и облака низки и смуглы,
а ты не замечал их раньше;
прерывисто — как будто в краже
замешан ты — твоё дыхание;
листвы остатней колыханье
кидается в глаза с разгона,
что твой щенок — неугомонно
и весело; и жизнь полдневна,
и равно далеко мгновенье
от смерти или от рожденья;
а мысль — как спящая царевна
за полчаса до пробужденья.

РОДОСЛОВИЕ

Авраам родил Исаака, Исаак
родил Иакова, Иаков родил...

Вот апрель, и — не чудо, не диво —
«все меняется и течет» —
за уже распутившейся ивой
тополей и платанов черед.

И грустить-то, положим, не дело:
двадцать восемь — всего только — лет,
но уже зацвело и созрело
поколение, идущее вслед.

И пора с осторожной любовью,
пересиливая тоску,
дописать к своему родословью
продолжение. Имя. Строку.

КОНЕЦ МАЯ

Сызнова, сызнova лето пришло,
и Ереван тяжелеет от зноя;
зелень, не тронутую желтизною,
резкой, безудержною, сквозною
судорогой озноба прожгло.

Ах, как не хочется с места вставать
и приступать, как к работе поденной
к жизни, на веки веков заведенной;
выпить воды ереванской студеной
и безнадежно упасть на кровать.

И засмеяться: ах, как хороша
эта боязнь, этот страх постаренья,
слабость и лень, в эмпиреях паренья;
сладостна жизнь и ее повторенья,
ежели правду сказать, не греша.

Явственна истина поздней весной:
познаны ненависть, зависть и злоба,
боль и болезни, и все же — до гроба —
жизнь хороша, хороша до озноба,
будто зазноба, и зелень, и зной.

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

Воды Севана.
Своды небес.
Счастье. Нирвана.
Горя — в обрез.
Мир потрясений,
боли, обид,
будто весенний
град, позабыт:
смутен, неблизок
(где ему — вплавь!),
вроде не призрак,
но и не явь.
В светлые воды
глубже нырни.
Минули годы,
месяцы, дни.
Время — раздолье,
но и предел.
Где твоя доля?
В чем преуспел?
Что ж ты, философ?
Знать, тяжело?
Время вопросов
раз — и ушло.
Плавай, изведав,
что тебя ждет.
Время ответов
холодом жжет.
Холод глубинный
вдоль живота.

До середины
жизнь прожита.

ИСТОРИЯ

Родина, я вовсе не пророк,
ясновидец или же оракул.
Я смотрел — назад. И я не мог
различить: молчал я или плакал;
нет, не позолотою, не лаком —
кровью изукрашен наш исток.
Родина, ведь и не так уж тих
голос истины, когда он воплотится
в письмена, в рассказы летописца,
в имена историков твоих.
Родина, твоих первооснов
внятен смысл и не угаснет факел.
Егише, Мовсес и Агафангел¹.
Карамзин, Ключевский, Соловьев.

¹ Армянские историки V века.

СТРОИТЕЛИ НАШИХ ЦЕРКВЕЙ

Строители наших церквей —
Ахпата, Гехарда, Татева —
не ведали злобы и гнева,
не помнили боли своей.

Не то что ученый монах
внушил им как высшую милость
всю святость, что уместилась
в евангельских письменах.

Ни Марк, ни Лука, ни Матфей,
ни Иоанн и ни Павел
на истинный путь не наставил
строителей наших церквей.

Никто не научит тому,
чего мы, хотя бы подспудно,
не знаем; не видим, пусть смутно,
в себе; не имеем в дому.

И выплеснулась из кровей
ремесленника-бедолаги
мечта о покое и благе
строителей наших церквей.

И камень стал храмом, зане
таилась в природе их дара
и царственность Ахтамара,
и девичья стать Марине.

И ты приумолк, книгочей,
и только дивишься гордыне,
явившейся в Санаине
строителям наших церквей.

Покуда ты жив и в уме,
пребудут усладой для взора
задумчивость Кармравора
и нежная твердь Рипсима.



Быть гражданином маленькой страны.
Куда ни глянь, отчетливо видны —
рукой подать — отчества границы;
наперечет поля, ручьи, лески,
и оттого, как родичи, близки
не то что люди — и зверье, и птицы.

Вот Дания. На карте — пятачок.
Чуток толкни, и хватит, и толчок
такого натворит — и жуть, и жалко.
Но Андерсен-то все же неспроста
внушал: жизнь справедлива и чиста —
своим солдатам, мельникам, русалкам.

И стоит ли ходить так далеко?
Уж мы-то знаем, нет, не молоко
вода Арпы, Касáха и Чорóха,
но никогда, нигде и никому
не скажем, будто в маленьком дому
живется неуютно или плохо.

Да мы и впрямь почти что как семья.
Бежишь, бывает, голову сломя,
тебя окликнут, подойдешь повинно,
и помолчишь, и скажешь наконец:
«Ты обознался, видимо, отец.
Вы ванские? А наши из Артвина».

РЕМЕСЛО

Ни следа — ни в словах, ни во взгляде.
Все прошло и быльем поросло.
Но, к досаде твоей и отраде,
остается твое ремесло.

Как изжога, в тебе это жжение,
напряженье, брожение и прыть —
без участия воображенья
под копирку судьбу повторить.

Ничего не придумать, не вставить,
не домыслить — совсем ничего,
оттого, что лишь зренье и память
твой кумир и твое божество.

Обожаемая, как прима,
обнаженная, как метель,
плоть реальности необходима
тебе, как живописцу модель.

А зачем она, эта дорога,
для чего тебе этот удел —
обладать без предела и срока
тем, чем ты краткосрочно владел?

Неужели вовек не расстаться,
никогда не расстаться душе
с тем, что в прошлом и, может статься,
безразлично тебе уже?

СЛОВО

Писательство — тягостный груз
и переизбыток гордыни,
а слово, коль скоро на вкус
попробовать, горше полыни.

Крестьянин идет по меже.
Нет роздыха каменотесу.
А ты и не веришь уже,
что слово не знает износу.

Ты в общем-то убежден:
уж ежели храмы незряче
исчезнут, как снег под дождем,
то слабое слово — тем паче.

Ан нет, не воротишься вспять,
ведь слово — и стыдно, да что же
поделаешь, как не признать?! —
насущенного хлеба дороже.

ГЛИНА

Ну и дождь! Точно тысячью линий
заштриховано небо — взгляни!
И в густой, будто варево, глине
тяжело увязают ступни.

Ты ее зачерпни и в пригоршне
разомни, чтобы жижа стекла,
чтобы жизнь стала вовсе не горше,
а яснее, чем прежде была.

Персть земная! Хоть в ком-то веки
образумься и думать забудь,
что, как путь из варяг и во греки
многотруден твой собственный путь.

Жизнь трудна? Ах, да все это враки!
Лучше слушай, себя веселя
и мотая на ус, как во мраке
ливня-проливня
дышит земля.

И — одна, единична, едина —
жизнь и завтра, точь-в-точь как вчера,
для тебя будет тем же, чем глина
для ваятеля и гончара.

И когда отживешь ты, и духом
изнеможешь, и ляжешь без сил,
вспомни глину, из коей, по слухам,
некий скульптор тебя замесил.



Пыль и копоть, и вроде затхло.
Дождь прошел — и землей запахло,
и напропалую, подряд
напоенно и упоенно
пахнут ивы, платаны, клены,
абрикосы и виноград.

Ты любил все это, но вчуже,
а теперь то ли голову кружит,
то ли просто уже пора
принимать — и не без кручины —
то, что напроць и беспричинно
отметалось еще вчера.

Возраст, что ли? И все же, все же
нынче жалостней и дороже
жизнь в озонном блеске своем,
и куда раздольней, и шире,
и просторнее стало в мире,
и раздвинулся оком.

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Какая-никакая, а весна.
На выгоне уже толчется стадо,
и чувство безнадежности и спада
уходит прочь, когда деревья сада
знай шепчутся о чем-то допоздна.

А там и дождь. И, вымокнув насквозь,
наутро, как после головомойки,
куда как поворотливы и бойки
шестнадцатиэтажной новостройки
монтажники — откуда что взялось!

И, как двадцатилетний вертопрах,
сияет мир улыбкою счастливец;
там, на лугу, ягненок прыгнуть тщится,
а здесь молоденькая продавщица —
халатик нараспах — стоит в дверях.

Не то чтобы ты наново рожден,
но этим возбуждением счастливым,
как трепетом, пронесшимся по ивам,
как взрывом почки или просто взрывом,
ты ошарашен вновь. И награжден.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВОЕ ВРЕМЯ

Баллада о моей жизни	3
Звезда над городом	4
Рассуждение о детстве	5
«Мне кажется, что это не игра...»	7
Баллада о Франсуа Вийоне	8
Друг приехал	10
Памяти двадцатилетних	11
Ночью в августе	12
Молитвенное	13
На пользу	15
Первая ночь в Ереване	16
Сроки	18

СРОКИ ПЕРЕМЕН

«Опять я себя не приемлю...»	19
Издали	20
«Ты моя, а я не твой...»	21
Чужая бессонница	22
Художник	24
Так говорить	26
Вдогонку	27
Органный вечер	29
Жасмина	30
Прощание	31
Знойная баллада	32
Нижегородский сентябрь	34
Дилижанский сентябрь	35
Всегда	37

ВКУС ЖИЗНИ

Агарцин	38
«Все снег да снег...»	40
Родство	42
24 апреля	43
«Куда как печален отъезд...»	44
Кофейня	45
Сад	47
Опровержение пословицы	48
Из телефона-автомата	50
Горный лес в ноябре	51
«Не набухай, не пульсируй...»	52
Ежевечерние дожди	53
«Январь, суматоха...»	54
Вкус жизни	55
Благовест	57

РАЗДОЛЬЕ И ПРЕДЕЛ

Декабрьская ночь	59
Канатная дорога в Цахкадзоре	60
Зимний пейзаж	61
Родословие	62
Конец мая	63
Двадцать восемь	64
История	66
Строители наших церквей	67
«Быть гражданином маленькой страны...»	69
Ремесло	71
Слово	73
Глина	74
«Пыль и копоть...»	76
Поздняя весна	77

Кубатьян Георгий Иосифович

ИМЯ

Редактор **Джагетян Р. О.**
Художник **Гаспарян Дж. Е.**
Худ. редактор **Арутюнян В. А.**
Техн. редактор **Авакян В. Г.**
Контр. корректор **Аветисян Б. С.**

ИБ № 130

Сдано в набор 26/IV 78 г. Подписано к печати 24/X 78 г.

Бумага № 1, $70 \times 90^{1/32}$ Печ. 2.5 л. = 2,92 усл. печ. л.

Уч. изд. 2,96 л. ВФ 08604.

Заказ 930. Тираж 3000. Цена 20 коп.

Издательство «Советакан грох», Ереван-9, ул. Теряна, 91.

Типография №2, Государственный комитет по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли

Арм. ССР, Ереван, ул. Теряна, 44.

Сканирование, OCR — Айвазьян Владимир

ЦЕНА 20 КОП.

«Советакані грох»